

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

Чернокашце
ЯДВИГА-
ЧАРОДЕЙКА

Александр Козлов

Чернокапище. Ядвига-чародейка

«Автор»

2026

Козлов А.

Чернокапище. Ядвига-чародейка / А. Козлов — «Автор», 2026

В Чернокапище страшные места не прячутся — они дышат в затылок. Овраг помнит голоса самоубийц, курган кормится ревностью, а в глубине Зыбуна шевелится то, что тянет на дно не тела — души. Вьюжной ночью на пороге старой бездетной пары оставляют младенца — девочку. На груди у нее метка: месяц и три звезды, будто выжженные изнутри. И страшные места начинают шептать громче. Ядвига растет среди огородов, песен и молитв, но тянется к оврагу, курганам и болоту, как к родне. Она слышит то, чего не слышит никто: как земля требует платы, вода зовет по имени, а в чужой измене просыпается голодная сила. Когда Лихай-красавец — первый, кто вызвал в ней глубокие чувства — предаст ее, это станет для нее важным жизненным уроком. А когда в селе появляется чужой чернокнижник, именно ей придется встать между ним и землей. Визуальное оформление обложки выполнено при поддержке ИИ-сервисов «Алиса Про» и GigaChat

© Козлов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Девка с меткой	5
Глава 2. Знамение	9
Глава 3. Наречение	13
Глава 4. Шепчущая земля	17
Глава 5. Пробуждение живицы	22
Глава 6. Призвание Ядвиги	27

Александр Козлов

Чернокапище. Ядвига-чародейка

Глава 1. Девка с меткой

Вьюга над Чернокапищем гнется, клубится, стелется воем бесстыдным. Нити белые землю затягивают, сугробы до самого неба вздымаются. Свод над селом тяжелый, низкий, глухой — ни звезды, ни месяца в нем не проглянет. Поземка мельчайшая в глаза лезет, лезвием острым по щекам полосует, в уши хрустит, за ворот набивается. Дорога к селу под пухлыми завалами пропадает, колеи не различить. Кусты по обочинам в шапки снежные укутались, ветви под тяжестью застылой тянут. Не слышно ни голоса человеческого, ни лая песьего, ни звона колокольного.

В такую непогоду и домовый поглубже в печную утробу забивается, и пес шерстью к полу прижимается да под лавку лезет, и мужик лишний раз на двор не сунется, коли нужда смертельная не прижмет. Ночь, мороз и хищный ветер хозяевами над селом ходят.

А тут — глухой удар в ворота раскатился. Тяжелый, неторопливый, каменный. Таким в старину и крышку гробовую придавливали, чтоб, чего недоброго, не дернулась.

В избе у старика Карпа висит полумрак. Пламя в печи скупно потрескивает, по стенам тени шевелятся, соль на полке серебрится, в углу иконы устало смотрят. Сама изба старая, приземистая, конопаткой по швам мохом бурым заросла — еще дедовой руки работа. Над печью травы пучками висят: зверобой, душица, полынь горькая — от хвори, сглаза, тоски зимней. У порога половики домотканые в два ряда постелены, по краям снеговая вода темными разводами проступает. В красном углу лампадка маслицем потрескивает, огонек неровный то разгорается, то никнет, по ликам святым пробегает, и мнится тогда, что глаза у икон оживают и тоже к двери поворачиваются — слушают.

Сам Карп, седой и сутулый, на лавке боком пристроился, лапти старые расправляет, ремешки ладонью приглаживает. Брови клочками над глазами нависли, глаза в пол вонзаются, уши в тусклую тишину впиваются. Руки привычное дело делают, а внутри пружина натянутая дрожит.

Снова стук. От откоса к откосу по избе перекатился, в бревнах гулко отозвался, в щели меж плахами пробежал, в печь, к живому огню, юркнул, там и замер.

— Слышь, дед, — у печи Марфа кочергой по углям шарит, жар поднимает, — кто это по двору в такую пору шаркает? Людской ноги на улице не водится, один нечистый бесится.

На столе у нее тесто тугое: узелками по корыту расползлось, шапочкой поднимается, пар над ним струйками вьется. Щеки у бабы румяные, платок к затылку съехал, седой волос на лоб выбился. Пахнет в избе кислым хлебом и сухим березовым дымком.

— Кого там носит, — проворчал Карп, не поднимая головы, — тому самому и отвечать перед пургой. Может, заплутал кто, может, скотина от стада отбилась. А может, и похуже что.

— Похуже то похуже, — откликнулась Марфа, и кочерга в ее руке замерла. — В такую ночь добрый человек дома сидит, порог не переступает. А ежели стучит — стало быть, нужда у него лютая, дальше некуда. Или сам он уже не совсем человек.

Карп на эти слова только крякнул, но лапоть из рук отложил. Прислушался. Тишина в избу снова воротилась, только полено в печи стрельнет — и снова ни звука.

А тут еще раз — стук упал, да уже тише, протяжней, с откликом хриплым, напором последним: грудь еще тянет, а душа уже к исходу летит.

Карп со скрипом поднялся с лавки, пояс подтянул, шубейку старую с гвоздя сорвал, на плечи накинул. С шапкой недолго тянул — нахлобучил на лоб так, чтобы уши прикрыло,

ворот повыше поднял. К дверям шагнул, деревяшку плечом подпер, чтоб не оторвало ветром, заслонку поднял, в сени протиснулся. Дверь за ним глухо вздохнула, опрокинутой щеколдой откликнулась.

В сенях ветер с порога ледяным языком по полу слизнул, Карпову тень по стенам размазал и в углу придавил. За дверью вой разгорелся. Ветер рвет, завывает, снежной пылью по лицу Карпу лупит, шапку за уши дергает, рукавицы к рукавам ледяной крошкой пришивает. Ворота стонут протяжно, как старуха беззубая: тяжелую створу скособочило, петли в гнездах стон подняли, поперечная жердь под пальцами Карпа ходуном пошла.

Из-за ворот — хриплое пыхтение. Густой, рваный кашель, как если бы изнутри у живого ключья выдирают, по горлу хрипом рвут.

— Кто там по двору шастает? — Карп голосом крикнул. Морозный воздух в ноздри тянет, а ему в очи поземка лезет, ресницы колет.

Молчит улица. Только скрежет по дереву — тонкий, цепкий, точно пальцы голые по доске цепляются, ногти об обледенелое дерево крошатся.

Карп зубы стиснул, жердь с петель поднял, ворота наполовину оттянул. В узкую щель снежная хмарь клубком влетела, в лицо ударила, по полу в сени застелилась. Ледяной дух в избу ломится, по щелям свистит.

За воротами человек плечом в столб вдавился, руками его обхватил — не оторвать. Плащ на нем в ключьях, края сосульками обросли, ворот к шее примерз. Борода инеем белым заросла до самой груди. Брови, усы к лицу примерзли, глаз из-под наледи не разглядеть.

Под мышкой у незваного гостя скатанный узелок висит. Тряпка пропиталась, темнота в ней отсырела, по краю полоса буро-черная расползлась. Один конец материи наружу выбился — липкий, жесткий от застуженной крови. Запах от пришлого тяжелый: пахнет мокрой овчиной, железной окалиной и кровью еще теплой.

Чужак ноги от снега отрывает, но не даются они. Сугроб до колен его держит, ноги под ним дрожью слабеют. Голос у незваного гостя густой, ненастный, каждое слово по льду режется:

— Пустите... хозяин... хозяйка... Не мне... дитю надобно... Спрячьте ныне... пока заря не обмоет...

Рот открывает, но слова умирают на языке, дыхание стынет в полуобъеме. Шаг передний сделал, другой за ним кое-как вытянул, потом и руки силы потеряли. Узелок из-под руки выкрутился, в снег у порога глухо плюхнулся.

Из тряпицы тоненький визг отзывался — слабый-слабый, жалостный: не то мышиное пикание, не то гнездовой птенчик губами воздух хватает.

Человек в ту же минуту коленями в снег врубился, грудью к белой корке припал. Красная полоса по снегу поползла, расширяясь и распускаясь, никуда не спеша, но уверенно прожигая снежную белизну.

Карп за шиворот его ухватил, под мышку руку засунул. Силой стариковской, накопленной за долгую жизнь, мертвеющее тело на ноги приподнял, к порогу потащил. Тяжесть от чужого не по годам, не по виду: мокрый весь, точно из проруби вынутый, по шубе кровь, по следу кровь. Дыхание руками не поймать — обрывается, рвется, в пальцах тает. Руки у чужака ледяные, в тряпицу вцепиться не могут, пальцы плохо слушаются. На усах хрупкий звон тоненький — иней по волоскам ломается.

Из избы Марфа в сенцы головой высунулась, на пороге соляным столбом застыла. Руки в муке, на лице страх и жалость пополам.

— Ой, матушки царицы... — выдох у нее дрогнул. — Кого лихая непогодь к нам прибила...

— Не для языка нынче время, — буркнул Карп. — За узлом гляди да в избу неси. Тут не говор, тут дело.

Марфа охнула и, не чуя холода, из сеней выбежала. В сугроб по пояс провалилась и над узлом наклонилась. Руки у нее, привычные к корыту и чугунам, над дрожащей тряпицей зависли. Взяла — и тепло в ладони ударило. Через грязную материю влажный жар наружу рвется, к телу липнет. Голосок тонкий изнутри стал настойчивей, высоко так тянется, просит, жалится.

Сердце у Марфы ухнуло книзу, ноги на месте приклеились. На долгий миг взгляд ее на сверток опустился. Потом прижала его к груди, торопливым шагом к двери метнулась, в избу юркнула, рукой платок у виска придерживая.

Карп чужака в сени втащил, дверью за собой хлопнул, щеколду подцепил, выюгу от живого тепла отрезал. В избе свет от лампадки и от огня печного полосой в сени протянулся, по лицу пришлого перелез, каждую черту и складку высветил.

Лицо у незнакомца узкое, жилистое, скулой острое. Годы по нему морщинами и рубцами прошли, каждый шрам старый ложбинкой белеет. Лоб высокий, жилы под кожей шевелятся, брови темные тяжело нависли. Глаза закрылись, под ресницами синева, впадины глубоки. Губы бескровные, синюю пепельной пошли, вокруг рта — черный круг запекшейся крови.

Карп чужака за плечи встряхнул, слова короткие, крепкие выдохнул:

— Эй, живой ли ты еще, человече?

Мужик на руках у старика дрогнул, веки рвано поднял, поглядел в глаза Карпу. Взгляд мутный, проваленный, зато хватка внутри него цепкая, не отпускающая.

— Я... не дойду... — губами шевельнул, язык едва ворочает. — До лесу не дойду... Сил моих ухнуло...

— До какого лесу? — Карп брови сдвинул, память шевельнул. — Тут лес стеной вокруг, рукой подать, шерстью до снега...

Мужик головой в сторону повел — не к ближайшим ельникам, а дальше, глубже, за край деревни, за спины изб. Туда, где болота Чернокапищенские, темные кочки, топи бездонные, о коих с давних времен дурная слава ходит.

— Дальше... — слово с трудом с дыханием выходит. — Черная топь... Тропка там спрятана... К Хозяйке ее несите... Дитю... Скажете, Ядвигой назвали, по сердцу легло... Сама погода дорогу отыщет... Сама к ней придет...

У Карпа внутри холодок прошел — не от мороза, от слова этого. Слышал он про Черную топь от стариков еще, когда сам безусым парнем бегал. Болота те гиблые, никто туда не ходит — ни охотник, ни грибник, ни пастух с заблудшей скотиной. А про Хозяйку тех мест и вовсе молчали, разве что шепотом, оглядываясь на лесную кромку.

Язык у мужика вяжется, губы пересыхают, челюсть тяжелеет. Взгляд стекленеет, холодным мраком наполняется. И еще одно слово, по-стариковски хриплое, на последнем выдохе оторвалось:

— Спрячьте нынче... пока не примчалось...

Голова у него к плечу свернулась. Шея под Карповой рукой мягкой тряпочкой повисла, тяжесть чужая иной стала. Все тело вытянулось, жилы на руках обмякли, пальцы разжались. В их распахнутости тонкая веревочка виднелась, за нее медный кругляш держался. Веревка не выдержала, треснула, медальон по глине в сенях прыгнул, у порожка остановился, в темноту под лавку на ребро присел.

Карп еще миг держал мертвеца за плечи — не шевельнется ли грудь под одеждой. Но тишина в теле чужом уже распорядилась. Ни толчка, ни судороги. Тяжесть от макушки до пят растянулась, ровно самому полу под стать.

Старик губы сжал, втянул воздух глубоко, со стоном вдохнул, тяжелый крест на грудь наложил.

— Вот так подарочек непогодный, — проворчал, будто о своем чем-то.

Марфа тем временем в избе над свертком хлопотала. На лавку его уложила, тряпицу отвернула бережно, словно кожуру с печеной луковицы снимала.

А там — дитя малое, красное, сморщенное, только-только из материнской утробы, видать, вынутое. Пищит тоненько, ручками воздух мнет, глазки зажмурены. Марфа на него глянула, и все в ней перевернулось. Не впервые видела младенцев — своих-то Бог не дал, выносить не вынесла ни одного, а тут — чужое, подкинутае, а сердце так и зашлось.

И вдруг заметила: на грудке у девчонки, там, где сердечко бьется, темнеет пятно. Не родинка, не синяк родовой, а кусок ночи неровный, по краям тонкими лучиками расходится — не то корнями, не то трещинками. Словно кто-то макнул палец в чернила из сажи и прижал к младенческой коже.

Марфа замерла, рука сама собой ко рту метнулась. Повидала она на своем веку родимых пятен — и красные бывали, и синие, и кофейные. Но такое — черное, глубокое, неправильное — видела впервые.

«Метка! — прошмыгнула мысль-догадка. — Ей-богу, метка. Неспроста это. Ой, неспроста...»

— Ах ты ж, малая пичуга, — зашептала она, отгоняя страх, к печи кинулась, воды теплой в плошку налила, чистую тряпицу со шкапа достала. — Откуда ж ты такая? Кто ж тебя в такую ночь понес через снега?

Дитя на голос ее отозвалось: плакать перестало, головенкой повело, губенками зачмокало. Марфа девчоночку в тряпицу чистую обернула, к груди прижала, к теплу печному поближе села. Руки у нее сами закачались — туда-сюда, туда-сюда, как у всякой бабы, что дитя баюкает, хоть свое, хоть чужое.

От умиления отойдя, обернулась она ко двери.

— Карп! Старый! — крикнула, и голос у нее сорвался, тонко так треснул, по-птичьи. — Ступай же скорей, по глупости своей не замедляй! Тут... диво у нас... Иди сам глянь, что принесено...

Глава 2. Знамение

Карп мертвое тело не в сугроб выбросил, не под порог, а на лавку в сенях аккуратно пристроил. Ноги выпрямил, руки на груди сложил. Полой шубы лицо ему закрыл — не по душе старому, чтоб мертвый в избу вглядывался, живым ночной сон мутит.

Медный кругляш с полу поднял, на ладони взвесил — тяжелый, холодный, не простой медяк. Ребром по подушечкам пальцев провел, край на ощупь изучил: буквы неведомые по кругу, не церковные, не гражданские, а словно бы попорченные временем и чужими руками. В кулак сжал, за пазуху сунул, ладонью по груди провел, ровно замок наложил. Перекрестился еще раз, уже без слов, и лишь потом в избу — к теплу, к свету и к Марфе — шаг сделал.

А там баба возле печи на лавке примостилась, узел на руках держит. Тряпица у краев кровью пропиталась, но середина теплая, мягкая.

Смотрит Карп, как из этого комочка жизнь тоненьким дыханием в воздух выходит. Мелкие кулачки наружу выползли, воздух ощупывают, пальчиками цепляют, под тряпицей перебираются. Глазки зажмурены крепко, ресницы тоненькие дрожат. Ротик то сжимается, то крик беззвучный выпускает, дыхание у горла сбивается. Девка. Маленький бабий початок. Голова черным пушком заросла: волос еще мало, но корень глубокий.

Марфа вся трясется, плечи дергаются, губы шепчут, но не понять — то ли молитва, то ли стон тихий. Ребенка к себе крепко прижимает, ни на миг не отстраняется. Увидела Карпа, голову вскинула, и первый вопрос — не о дите, а о том, кто лежит в сенях:

— Ты глядел ему в лицо-то, старик? Может, признал кого? Может, из наших краев мужик?

Карп брови сдвинул, на лавку напротив опустился, суставами глухо шелкнул.

— Нет, не из наших. Лицо незнакомое. Рубленое, жилистое, шрамы старые по всему лбу. Такие, — он помедлил, слово подбирая, — не от сохи остаются. И рука у него правая в засохшей крови по самое запястье. Не его то кровь, припекшаяся уже, старая. Нет, Марфа, не крестьянский он человек. Воин или разбойник — бог весть. Одно знаю, что хоронить надо похристиански, землей присыпать. Нельзя, чтоб над ним выюга глумилась.

Марфа перекрестилась мелко, часто, губы поджала.

— Успеется с похоронами. Ты про дите скажи — что делать-то будем? И про метку... Ты слова мои расслышал ли? Метка на девчонке, черная, на самой груди. Я как развернула тряпицу — так и обмерла. Не родинка, не синяк — знак. Не пойму только, от Бога он или от лукавого.

— Слыхал, — кивнул Карп. — Поглядим.

Он в глаза свертку уставился. На Марфу потом глянул: в зрачках у нее страх, как холодная вода, и жалость, как огонь, и радость такая горькая, что и глотать больно, и выплюнуть жалко.

Хата у них давным-давно без детского лика пустеет: ни крика, ни смеха под балками не звенело, ни колыбели до сих пор не висело. Марфа свечки у иконостаса давно Божией Матери ставила, плечи слезами мочила, полы юбкой вытирала. День сменял другой, годы осыпались, что листья кленовые с дерева, а детские ручонки по лавкам не скреблись.

Помнил, как она в первые годы замужества каждую весну наливалась надеждой, а к зиме сникала. Как глядела вслед чужим бабам с тяжелыми животами, как одергивала руку, нечаянно коснувшись детской макушки у деревенского колодца. Помнил ее ночные всхлипы в подушку, когда думала, что он спит. И слова ее помнил — горькие, шепотом: «Пустая я, Карпушка, как колос без зерна...»

А теперь вот сидит перед ним — седая уже, с морщинами у глаз — и держит чужого младенца так, будто собственной грудью выкормила.

— Чужое дите, — произнес Карп. — Не по нашему роду. Неведомо, с какого края, от каких отцов, от какой матери с кровью взято. Мужик тот простой крестьянин в снега не побежал бы. Гляди, не один грех за спиной тащил. Руки у него не только хлебом мазаны... А коли по его следу гон бежит? Не за самим, за дитем этим носится? Да еще и метка эта...

— Да хоть бы и бежит! — выкрикнула Марфа, и голос ее зазвенел, заметался под потолком. — Пускай бежит, пускай ищет — я дите не выдам. Не для того оно к нашему порогу прибилося, чтобы я его обратно в снег, как щенка слепого, выставила. Знамение это нам, слышь, старый, зна-ме-ни-е!

Карп помолчал, потер ладонью колено.

— А ежели утром нагрянут? — спросил тихо. — Ежели прямо к нам, по следу? Что скажешь? Чем ответишь?

— А тем и отвечу, что дите это — божье. И никто — ни человек, ни зверь, ни сама смерть — не заставит меня от него отступить. А метка... Может, она от Бога. Может, это знак, что девочка особенная. Избранная. Кто мы такие, чтобы судить?

— Ой, не знаю, мать...

Марфа пружиной выстрелила. Глаза жаром плеснули, слезы набухли, по щекам разлились.

— Не знаешь? Что ж, по-твоему, Карпов род длинный, — голос у нее дрогнул тонко, — мне эту кроху под лавку выкинуть? На наст, на жгучий ветер? Пускай ее вьюга крутит, да хищные псы во дворе зубами теребят? Воронье черное по глазам, по ручкам клюет? Сказать самой себе: «Не мое, чужое, пускай гниет, где нашли»? Я, по-твоему, из камня? Собаку в такую стужу жалко на дворе держать, ворота для нее приоткроешь, чтоб не скулила, а тут дите человечье... Девочка маленькая... Грудь у нее еще от холода до конца не схватилась...

Девчонка на руках у нее заворочалась, пискнула звонко — есть просит, тепла ищет. Марфа еще теснее к себе прижала, тряпицей голову ей накрыла, руками крылом обвила. И тут же, спохватившись, отогнула край тряпицы — показала Карпу.

— Вот, гляди, — голос у нее дрогнул. — Видишь?

Карп подался вперед, сощурился. На младенческой грудке, там, где сердечко бьется, темнело пятно — то самое, о котором Марфа кричала ему через дверь. Старик глядел на него, и внутри у него росло нехорошее, смутное чувство: такие отметины на свет неспроста являются.

— Метка, — выдохнул он. — Не простая метка, Марфа. Родимые пятна иными бывают, сама знаешь, не хуже меня. А это... Черная. И по форме — не разобрать. То ли полумесяц, то ли паук растопыренный.

Марфа мелко-мелко закрестилась, губы у нее побелели.

— Свят, свят, свят... Это ж неспроста, Карпушка. Это ж знак на ней стоит. Может, потому мужик тот и бежал? Может, прав ты, не за ним гнались, а за ней?

— Может, и так, — пробормотал Карп. — Может, и так.

Он долго еще смотрел на пятно, потом отвел глаза и уставился в огонь.

— Видел ведь ты, старик, — голос бабий осел, помягчел, но упрямство из него не вытекло, застряло, — сколько лет я детский крик в углу жду. Сколько ночей у образов выставляла, с колен не отходила. Молила о душе новой в доме. Мы уж с тобой и не надеялись. Ты одно бурчал, я другое шептала, и тишина по бревнам лазила. Сколько раз я мимо чужих дворов проходила, где ребяшня на завалинке возится, и внутри все каменело. Сколько раз на баб с младенцами глядела — и глаза отводила, чтоб не выдать себя. А тут... Рука у меня в сторону от такого чуда не повернется. Сердце мое не позволит. Пусть хоть с меткой, хоть с рогами — мне все одно. Дите оно и есть дите. Божья душа.

Карп от печи взгляд не отводил. Огонь в чреве кирпичном плясал, щепки трещали, искры в заслонку тыкались и назад падали. Загляделся старик: тени на стенах пляшут, потолок копытью черной дышит.

Над печью старый рушник висит — Марфины руки его когда-то белили да птичек красной ниткой выводили. Две по краям, посередине — пустота. Марфа в те годы все говорила: «Тут, меж птичек, крошечная ладонь ребеночкину молоко от сытости оставит, вот тут пятнышко появится...» А в середине так и висело пустое поле: ни одного следочка, ни одной крохотной точки.

Старик грудью тяжело качнул, втянул в себя воздух глубоко, будто камень из колодца поднимать собрался.

— Ладно, — сказал наконец, и слово его по полу покатилося, тяжелое. — На мороз ее не сунем. Такого греха и врагу не пожелаешь. Но и так, без совета, под кров вносить — дело непростое. Мужик тот не от тихой жизни просил спрятать. Да и метка эта... — Он осекся, махнул рукой. — Потерпела ты, баба, без младенческого крика долгие годы, потерпишь еще часик другой, пока я к батюшке схожу. У отца духовного совета спрошу. И про метку расскажу. Пусть поглядит, слово свое скажет. Слово церковное наше дело в узду зацепит.

Марфа губы поджала, руки вокруг свертка мертвой хваткой сцепились, но язык поперек Карповой речи не лег. Муж ее без благословения креста лишнюю ступеньку не переступит — это она знала. Да и правда, спокойнее будет, когда поп порядок словом закрепит. И про метку рассудит — от Бога она или от лукавого.

— Ступай, — тихо сказала она со вздохом коротким. — А я дитенка у огня согрею. До твоего возвращения дотянем, не пропадем.

Карп поднялся, плечи расправил, накинул шубейку поверх рубахи, шапку надвинул до бровей, рукавицы с печной лежанки сгреб. У двери обернулся на Марфу. Та уже и не смотрела на него, все внимание в сверток ушло, в маленькое личико, что из тряпицы выглядывало. Покачал головой, вышел в сени, обошел лавку с покойником, отодвинул засов и шагнул в ночную круговерть.

Ветер тотчас за шиворот ухватил, снегом в лицо дохнул, закружил, заметелил, ровно старый недобрый знакомец. Дверь за стариком глухо ухнула, и Марфа осталась в избе одна — только печь, дитя да вьюга за стеной.

Карп, уходя, засова на воротах не стал поднимать — оставил калитку незапертой. Пусть, если что, свои войдут. А чужие... Чужие в такую ночь через сугробы не пробьются, а если и пробьются, то он первым их встретит, двор перейти не даст.

Шагал старик тяжело, проваливаясь в снег почти до колен, но не останавливался. Дорогу к церкви знал на ощупь — каждый поворот, избу, плетень. За спиной метель выла, спереди ветер бил в грудь, а он все шел и шел, сжимая в кулаке посох, что у ворот прихватил.

Как ушел старик, Марфа с ребенком у печи одна осталась. Тихо в избе сделалось, только пламя в печи потрескивает да вьюга снаружи воет, углы пробует.

Девчоночка на руках у Марфы завозилась, зачмокала — есть захотела. Марфа тряпицу на свертке поправила, чтобы головка не мерзла, и достала с полки чистую ветошку. Сложила уголком, в теплой воде смочила, в ротик девчонке сунула. Та принялась сосать жадно, захлебываясь.

Марфа глядела на нее и не могла оторваться: вот бровки тоненькие, реснички, ушко маленькое, мочкой к головке прижатое. Крошечный пальчик обхватил ее мизинец и сжал крепко-крепко — откуда силы-то у малого дитя столько! У бабы от этого движения комок к горлу подкатил, да так и застрял там — ни проглотить, ни выдохнуть.

— Ишь ты, хваткая какая, — прошептала она, и губы у нее дрогнули в улыбке — ласковой, материнской под стать. — Ничего, малая, ничего. Поживешь у нас пока. А там видно будет, что Бог даст и как поп рассудит. Я тебя никому не отдам, что бы там ни решили Бог с попом...

И сама не заметила, как запела колыбельную — старую, еще от матери слышанную. Запела тихо-тихо, почти без голоса, и девочка на руках затихла, пригласлась, засопела ровнее.

Марфа все пела и пела, и слова сами лились, старые, полузабытые: про кота-воркота, про серого волчка, про то, как звезды над крышей зажигаются и ангелы детский сон стерегут.

А за окном все мело и мело, замечая следы — и те, что к дому вели, и те, что от дома уходили.

Глава 3. Наречение

Идет Карп, а сугробы по пояс, местами и выше — дорога под снег без остатка ушла. Но ноги у старика сами место у храма чувствуют: под подошвами теплая тропа тянется. Каждый шаг трудом отдается, дыхание паром вылетает, борода льдом к вороту примерзает. По сторонам избы притихли, крыши шапками нависли, окна черные, мертвые — свет в такую ночь из них не пробивается. Вся деревня к печам попримчалась: ни один лишний стук вьюгу тревожить не посмеет.

К храму подошел, ступеньки каменные лаптем потрогал, силу от них потянул — холодную, но неподвижную. Дверь тяжелая, с железными полосами, скрипнула под грудью, впустила старика под свод. Внутри сырой полумрак стоит. Дерево по углам сыростью тянет, воском и ладаном пахнет. В красном углу огонек свечной трепещет. Дымки кверху ползут, тонкой вуалью иконы застилают.

Поп местный — старый, высохший — из-за алтаря к аналою мерной походкой идет. Подрясник вокруг ног тяжелой складкой вьется, бороду длинную ладонью приглаживает, слова неразборчивые под нос шепчет. Увидел Карпа, брови седые приподнял, глаза сузил.

— Ты чего ж это, Карпушка, — голос у него шершавый, ровно кора, — в такую стужу да вьюжину по селу шатаешься? Покой нынче даже лихой силе дается, а ты хромой ногой сугробы роешь.

Карп шапку с головы снял, снег с плеч смахнул, согнулся в поясе, поклон попу и алтарю отдал.

— Батюшка, — начал без подбора слов, — беда ли у нас, радость ли клюнула — сам не разберу. Чужой мужик к нам на порог приволокся: вьюга да кровь по пятам, язык предсмертным словом шевелит. Дитя на руках нес. У порога душу отдал, дитенка нам, выходит, оставил. Девка сейчас у нас в избе, теплым дышит. Только не наша она — ни по крови, ни по роду. Пришел к тебе, батюшка, с вопросом: как нам по правде Божьей быть? В дом взять — грех ли? За порог выкинуть — грех вдвойне тяжелей...

Поп к образу Спасителя взгляд поднял, перекрестился неторопливо, огонь на свече поправил, мысль свою крестом осеняя. Потом медленно к Карпу подошел, тяжелую руку на плечо ему положил.

— Бог бурю поднимает, — негромко промолвил, — и каждая снежинка под Его взглядом летит. Не вам, старым, решать, какой дар вьюга через порог занесла. Ребенка к себе принимайте — под сень свою, иконы ваши. Имя ей человеческое дайте, по сердцу, а не по прихоти. Мужика того по-христиански упокоим: молитвой проводим, землю матушку над ним прикроем. Земля лишнего не выталкивает, все принимает, да распоряжается по-своему.

Карп кивнул. Камень с его плеч на храмовый пол мягко скатился. Тягота в груди чуток отмякла, но не ушла — малость попримчалась.

— А имя ей какое, батюшка, мыслить? — голос у старика несмелый стал. — У нас с Марфой ни мальчика, ни девки не родилось, не держали мы в языке имен детских, не примеряли...

Поп на него долго и пристально смотрел, внутрь через глаза заглядывал. Еще чуточку — и, казалось, увидит, каким ветром дед рожден, куда его путь по жизни стелется.

— Как наречется, так и под тем именем путь свой пройдет, — ответил тихо. — Имя в душе корень пускает, по нему жизнь сок тянет. Посему не бери словцо пустое, легче ветра, не подхватывая легкий звон. Земля у нас тяжелая, суровая. Места вокруг по швам расползшиеся — трещины старые едва скрыты. Не забава это, дитю имя давать. Подумай. Не разумом думай — сердцем. А там язык сам имя выплюнет.

Карп снова поклонился, с попом не спорил. Из храма вышел, дверь притворил — вой вьюжный опять его подхватил. Только теперь ветер не так люто хватал, не с такой злобой

под сапоги лез. Дорога к дому вдруг короче показалась, шаги легче пошли, будто кто невидимый под спину руку подставил. Перед глазами старика меж снежинок на миг личико девичье всплыло: неясно, абрис сырой, но сладость во рту осталась. Надо ли тому верить — сам не понял.

В избу вошел — тепло, как в нутре живого зверя. Запах дыма, теста кислого, капусты подсолненной. У печи Марфа сидит, девчонку на руках качает.

Марфа поправила тряпицу, уголок подвернула. Малышка носом сопит, ртом воздух ловит, дыхание грудку поднимает еле-еле. Щечки розовым огнем чуть горят, а ладошки в кулачки сжаты, из-под тряпочки торчат. Тепло от нее ровное, прямое, через Марфины руки по избе растекается.

На груди у младенца, где тряпица распахнулась, пятно темное виднеется. Кусок ночного неба прижался к коже, дугой выгнулся — месяц урезанный. От острого его края вниз три точки крошечных нитями вьются. Марфа с виду девчонку придерживает, а с метки той глаз отвести не может.

— Что батюшка-то прорек? — голос у нее впереди вопросов бежит, до старика добегают, в глаза ему вцепляется, ответа не отпускает.

— Принимать велел, — Карп от дверей отлепился, шубу в угол повесил, к жене ближе подошел. — Как собственное дитя. Благословение небесное на то дано. Имя, говорит, дайте, как сердце подскажет. А что сердце? Чужак вон — Ядвигой наречь просил пред смертью.

Марфа крест на себя наложила, губы зашевелились, слезы по щекам побежали — не те, прежние, жгучие, а мягкие, теплые, словно пар над кашей.

— По сердцу... — еле слышно повторила. — Мне, Карпушка, имя это в груди стучится, все одно имя вертится... Девку эту как в руки взяла, имя это на языке крутится. Слово само собой в язык просится. «Яд» — в корне его сидит, видно, не простое дитя к нам на руки легло. Да и «виг» — вихря в нем хватает, и ветер, и дорожный дым... Страшно слово, а от иных звуков сердце в тоске пустеет, высыхает.

Карп рядом присел, глаза в девчонку вонзил. И тут она, речь о себе заслышав, глазки приоткрыла. Зрачки темные, глубокие, точно вода в омуте. Не по-младенчески чистый взгляд у нее: тяжелый, внимающий, взрослый, что многое повидал да молчит, таит в себе мысль глубокую, древнюю.

На миг этот взгляд в глаза Карпу воткнулся. По спине старика мороз продрал. Взгляд этот в душе его дверцу приоткрыл, в самую глубину заглянул, и там все в аккурат перебрал.

— Ядвига, коли так... — выдохнул он, имя на языке примерил. — Ну, раз сердцу твоему такое имя легло, а я с тобой половину жизни путь топчу, спорить мне не к лицу. Ты тропинку выбрала, я по краю побреду за тобой.

Пальцем осторожно щеку девчонки тронул. Кожа теплая, нежная — розовый лепесток. Под его пальцем легкая дрожь прошла, откликнулась.

— Ну, здравствуй, Ядвига, — негромко сказал, отчетливо, слог за слогом, выговорил. — В наш дом ступила, в наш род попросилась.

Малышка тонко пискнула, губы трубочкой вытянула. Ладошка от груди оторвалась, к Карповому пальцу потянулась, зацепилась кончиками — удержать старается, не отпустить.

В ту же секунду по оконным рамам иней побежал быстрым узором. Лед веточками распластался, листьями, цветами; по стеклу змеи стылые проползли, линии переплелись, а в печи полено громко лопнуло, искра выстрелила, но не в избу, а вверх, к трубе, и исчезла. Огонь гудеть ровнее начал, послушнее и мягче.

Марфа вздрогнула, на окна зыркнула:

— Видел, старый? Дитятко только имя узнала, да по нашему дому отозвалась... Бревно бревну слово передает...

Карп губы сжал, на сердце что-то стронулось, незнакомое. За пазухой, под рубахой, медный кругляш, от мужика доставшийся, ребром ему в ребро уткнулся, скрипнул. Старик рукой за пазуху залез, медальон из-под ткани вытащил и на раскрытую ладонь положил.

Медный круг кружком лежит, тусклый, старой зеленью отлитый. По краю его тоненький змей вытянут: кольцом тело сложил, хвост к пасти подтянул — сам себя жует. В середине знаки неведомые: три черты в круге сошлись, друг друга перечеркивают, в центре точка устроилась. Взглянешь — ничего понятного, отведешь глаза — мурашки по шее бегут. По всему очевидно, что эти линии не рукой человеческой проложены. Да, может, не случайно чужак кругляк обронил, а нарочно, чтобы Карпу достался.

— От того пришлого мужика остался, — пробурчал старик. — Мне на такое железо глаз недобрый глядит. Не ко двору нам оно. Нечего его рядом с девкой держать. Спрячу подальше, пусть в темноте ржавеет.

Марфа на медальон глянула, плечи ее дрогнули, губы сами по себе слово старое, нехорошее шепнули. Руки к груди девочки крепче прижались.

— Прячь его, — кивнула она, соглашаясь. — В дальнюю даль спрячь. Чтобы ни рука, ни взгляд детский до него не дотянулись. От змеиноного круга добра не жди.

Карп к печи подошел, кирпич в заднике, чуть отодвинутый, нашел. В нише потемки старые слежались. Там коробок берестяной спрятался да гвоздь старый заржавленный завалился, а теперь к ним медный круг прибавился.

Старик кругляш туда засунул, кирпич на место придвинул, ладонью глиной пригладил — век тому слеplено.

— Чужое к чужому, — пробормотал. — Пусть лежит под стеной глухой, а наше дите пускай растет под Божьим глазом.

Малышка в тот миг рябью по телу прошлась, громкий вопль родился — острый, ножиком воздух полоснул. Глазки вновь открылись. Взгляд короткий, быстрый, к печи метнулся — туда, где знак медный спрятался. Но через миг ресницы смежились, скулы расслабились. Головой малышка к Марфиной груди прижалась, и дыхание ровно потянулось. Девчонка, зная, признала: что должно скрыться — укрылось, что должно остаться — в тепле лежит.

За окном вой пугливый стихать начал. Порывы ветра все реже царапали стены, завывание истошный тон сбавило, превратилось в протяжный вздох. Снег уже мягко на крышу ложился, по бревенчатым стенам стекал, сугробами во дворе набухал. Село под периной снежной прижалось, в белом пуху задремало. В каждой избе — свои шорохи и стоны.

Только в одной избенке, что от годов древних покосилась да к земле припала, голос новый народился — тонкий, звенящий, уверенный, ровно струна тугая. Детский тот писк с треском поленьев перемешался, с Марфиным шепотом переплелся, с глухим Карповым ворчанием сплелся — и пошла по дому новая жизнь.

С той самой ночи Чернокапище иначе слышать стало. Потрескивают срубы, но не просто от мороза, а будто каждая щербинка на дыхание Ядвиги отзывается. Дом Карпа и Марфы из общего сельского лада выбился. Бревно к бревну не просто притерто — шепчутся они меж собой, под печью гулом перекликаются, тайные узоры друг другу передают. Девчонка ладонью стену тронет — глазу ничего не видно, а внутри дерева тонкая жилка загудит и в общий узор вратет, ровно нить в холст.

Люди о том в те дни не думали. У каждого своя кручина: у одного корова телиться начала — впервые за семь лет, у другого кобыла за кочку зацепилась, ногу повредила, у третьего свекор сноху почем зря клянет, а та не молчит — в голос заходится. Кому до того, как под одной избою земля шумит? Село своим чередом живет: хлебом, свадьбами да похоронами. Только в тот самый час, когда у Карпа девчонка прижилась, в других избах дети разом проснулись, в люльках заворочались — будто чужой ветер им сны растревожил, будто неведомая сила по всем домам прошла.

А под избой Карпа, на черной жиле, земля шевельнулась. Тонкий корешок от давно забытого корня к печи потянулся — туда, где колыбель когда-нибудь закачается. Под снегом в лужиках вода потемнела и поймала первую тень от имени Ядвиги. От той тени мелкая дрожь по оврагам прошла, по болотным кочкарникам, по кочкам, мхом поросшим, по черным топям растеклась. Болотная тина негромко отозвалась, пузырем всплыла и беззвучно лопнула. Потянуло мокрым мхом и прелью далеких низин.

Дом девчонку принял. Имя ее в бревно впитал. Место под ней шевельнулось — ровно зверь, что долго спал, а тут повернулся. С той поры ни один ветер над Чернокапищем без ее дыхания не прошумит, ни одна выюга по небу не пройдет, судьбы ее не коснувшись. Но все это — дальше будет. А ныне — тихое дыхание в теплом углу, крошечные пальцы за Марфин кафтан цепляются. Карп на лавке бурчит, охает, а улыбка сама усы раздвигает, наружу прискает, хоть он и отворачивается.

Так выюга дитя в дом принесла. Так Ядвига первый шаг по чернокапищенской земле сделала — тихий, в хате, а трещина от него по миру глубоко побежала. Не глазу видна, не уху слышна — пролегла она меж верхом и корнем. Меж тем, что у людей наверху, и тем, что внизу: под черной жилой, топью, камнем. И как пойдет та трещина дальше, кого до костей достанет — о том еще много слов впереди сложится.

А пока — ночь, теплый угол, дыхание девчонки и стариковы молитвы, что осторожно, неслышно новую судьбу плетут.

Далеко за болотами, под ледяной коркой, первый росток дрогнул и вверх, к свету, потянулся.

Глава 4. Шепчущая земля

Годы над Чернокапищем прошли, как вода по весенней долине. Снег сходил, грязь месилась, трава поднималась, колосья зрели, а потом, как полагается, снова снег землю укрывал. В избушке Карпа и Марфы жизнь тоже своим чередом шла, но каждый год в ней новое зерно прорастало — Ядвига росла.

Девке к тому времени восьмой годок пошел. Нога уже крепкая, по полу не шаркает — стучит звонко; косы не пучком торчат, а до лопаток тянутся, темные и тяжелые. Лицо детское, круглое, а в глазах глубина, как в омуте лесном. Усмехнется — и будто не девчонка глядит, а женщина зрелая; нахмурится — сразу видно: мысли у нее не только про куклу тряпичную и про пирог с калиной.

Дом в ответ на каждое ее движение по-своему говорит. Не Марфе, не Карпу, а ей одной.

Стоит Ядвиге обидеться — на слово Марфино резкое, на дедов свист или на оклик соседский грубый — как по бревну под ее рукой тонкая трещина побежит: от угла к углу, из-под лавки к окну. Ни доска не лопнула, ни сучок не вывалился, а проступила узенькая, темная волосинка. Если бегом к тому месту подойти, ладонь приложить — тепло изнутри идет, злость Ядвиги там живой бьется.

Марфа раз увидела трещинку новую над косяком — руками всплеснула:

— Ох ты, святые угодники! Дом-то наш с годами совсем развалюха, все трещит да крошится. Карп, слышал?

Карп плечом повел, в стропила глянул.

— Не дом, Марфа, — пробурчал, — время трещит. Мы с тобой тоже по швам пойдем. Не на доски пенять надо — на годы свои.

А Ядвига в это время на лавочке сидит, губы надутые, глаза в ладони спрятаны. Ее вздох эхом в трещине бревна отозвался, к сердцу ниткой потянулся.

В другой раз котенка маленького мальцы соседские за угол забросили. Достали где-то слепого, грязного, шерстка в колтунах, глаза гноем залеплены. Таскали за хвост, смеялись, кричали:

— Гляди, ведьмин кот! Глаз у него нет — ворожейный, что ль?

Котенок пищит, лапами по воздуху машет.

От зрелища того у Ядвиги внутри все оборвалось.

Среди мальчишек, что котенка мучили, верховодил Лихай. Черноволосый, смуглый, с дерзким прищуром светлых глаз, он уже в десять лет выделялся среди прочей ребятни. Девчонки заглядывались на него даже теперь, а он, чуя свою власть, ходил по улице хозяином.

Лихай первым схватил котенка за шкурку и поднял повыше, чтобы всем видно стало.

— Гляди, ведьмин кот! — крикнул он звонко. — Глаза гноем залеплены, небось и не видит ничего. А ну, проверим, живучий ли?

Швырнул котенка в пыль. Тот покатился кубарем, запищал тонко, слепо зашарил лапами по земле.

Мальчишки загоготали: кто-то поддел его сапогом, кто-то потянул за хвост.

Лихай стоял чуть поодаль и ухмылялся.

Ядвига выскочила из-за угла, как молния сверкнула. Ни крика, ни плача. Врезалась в толпу, плечом и локтями озорников растолкала, выхватила котенка из-под чьего-то сапога. К груди прижала, на ногах не удержалась и в крапиву упала, но не выпустила. Щеки в слезах, губы дрожат.

— Чтоб вам руки отсохли! — выкрикнула. — Чтобы вам так же страшно, как ему, во тьме слепой жить!

Лихай ближе шагнул.

— Ты чего, Ядка? — нарочно назвал ее по-уличному, с вызовом. — Это ж зверюга. Может, бешеная или чумная. Тебе-то что?

Подняла голову Ядвига. Глаза у нее горели, на щеках — грязные разводы от слез, но голос не дрожал.

— Уходи.

— А то что?

— Уходи, — повторила она. — Тебе же хуже будет.

Посмотрела на него в упор. Ничего особенного не случилось — ни грома, ни ветра, ни порчи. Но Лихай почуял вдруг, как внутри у него что-то похолонуло. Не страх — другое. Стыд? Нет, стыда он тогда еще не ведал. Но под этим взглядом сделалось ему неуютно. Так бывает, когда мать застанет за дурным делом, а слова еще не сказала, только смотрит.

Сплюнул Лихай в пыль, развернулся и пошел прочь, бросив через плечо:

— Да ну ее. Свяжешься — еще заколдует.

Потянулись за ним мальчишки. Кто с обидой, кто со стыдом на нее озирается. Кто вроде и смех еще держит, а глаза в сторону прячет. Разбежались по дворам, только смех их еще по улице запоздалым эхом прыгал.

Осталась Ядвига сидеть в крапиве, прижимая к груди дрожащий комочек. Не заплакала, но запомнила этот день надолго. И котенка, и свои обожженные крапивой ладони, и черный затылок уходящего Лихая, на который смотрела с непонятной, горькой обидой.

С той поры при встрече с ним отворачивалась, а он, завидев ее издали, нарочно начинал балагурить громче и развязнее. Но котят больше не трогал. И другим не давал.

Принесла Ядвига котенка в избу, на колени посадила, горстку каши теплой с ладони ему дала. Пока он ел, глаза ему тряпкой протерла. Потом в хлев пустой отнесла, в угол сена насыпала. Ночью еще к нему заглянула, теплую воду в плошке поставила, к его тоненькому писку прислушалась и вздохнула облегченно — все уладилось.

В ту же ночь мыши на чердаке, что вечерами без умолку возню устраивали, разом притихли. Ни шороха, ни скрипа.

Карп про себя порадовался — мыши зерно не грызут, муке покой. Марфа только головой покачала:

— Вон, Ядюшка, котенка пожалела — так мыши аж на цыпочках теперь ходят. Чудно...

Печь к Ядвиге тоже вниманием потянулась. В холода, когда мороз по щелям дует, сумерки в избе по углам ползут, Марфа дрова и поленья таскает, печь кормит. Огню иной раз тяжело: хворост сырым попался, дым в глаза, искры в трубу идти не желают.

Марфа руками всплеснет:

— Опять не греешь путем, окаянная...

Ядвига подскочит, к устью печному подойдет, ладошки протянет:

— Ну же, ну, не ленись, матушка печка, — тихонько скажет. — Мне озябло. Погрей нас путем, не скупись на жар добрый.

Слово это из ее рта угольком раскаленным вылетит, прямиком в уголья под чугунами упадет. Огонь вдруг собьется, потом вверх потянется — языки густые, желтые, по кирпичу бегут. Тепло по избе расходится, щеки Марфины рдеют, у Карпа шапка с головы слетает, лысина вспотеет.

— Вот чудо-то! — он лоб рукавом вытер. — Без мехов загудела!

Потом Ядвига сама иной раз шутливым словом жар умеряет:

— Матушка печка, да не жги нас, добрых, дай передышку.

И пламя, точно зверь живой, лапы огненные поджигает и клокочет приглушенно, но не тухнет, а горит в меру.

Ночами дом каждый ее вздох слушает. Марфа и Карп спят, посапывают, а девчонка не всегда. На печи комочком свернется, котенка к себе под бок подтянет. Тот уже не слепой, мало-

мальски прозрел, по избе на мягких лапках ходит, хвостом по углам оглаживает, как приметой место помечает.

Ядвига головой к стенке кирпичной теплой прижмется, глаза прикроет. Вроде тишина. Снаружи ветер по крыше водит, в трубе воет. Внутри огонь в печи ровно дышит. А промеж всего этого — дыхание другое, глухое и тяжелое. То земля под домом своим ходом живет.

Сначала до Ядвиги только гул доходит, утробный, как если бы кто огромный в глубине перевернулся, боком кверху лег, лбом в камень уперся. Потом средь гула отдельные слова выкраиваются — редкие, но цепкие:

— Зо... ви...

Пауза, эхом по бревнам:

— Зо...

Снова:

— Ви...

И еще:

— Когда...

И еще:

— Придет...

Смысл этого детскому уму неясен, а сердце слышит и трепещет. Промеж этих слогов пустота, но именно в ней что-то важное крутится, как вода в воронке.

Ядвига подумает: «Кого звать? Кому звать? Куда придет? Когда этот час?» — а ответа все нет. Одно только чувствует, что если из черной глубины что-то наверх потянется, тогда уж обратно не загонишь.

Днем с этим легче. Солнце в окно играет, Марфа тесто месит, Карп по двору ходит, ругань свою тихую на корову выливает — та его хвостом по лицу норовит хлестнуть.

Ядвига выбирается на завалинку, на солнышке сидит, веревочки крутит, кукол из тряпицы ладит. Кажется, и нет никаких ночных шепотов, дом обычной избой стоит.

До поры до времени.

Случилась в те годы в деревне беда. Не пожар, не мор и не разбойничий набег — мальчишка пропал. Малой, лет девяти, Антошка из ближней улицы, сын вдовы Настасьи.

Резвый, голосистый, песни сам складывал, бабам под окнами с утра рано выводил, за то от них пирожки и похлебку получал. Люди к нему с лаской, он к людям — с песней.

На речку в тот день бегал, корову матери погонял, с ребятней под горой катался. А к вечеру Настасья заголосила:

— Антошка-дурилка, иди к столу, уха остывает!

А в ответ — тишина. Соседи проснулись, по двору его покричали. Нигде нету. У реки нет, у кузни нет, в стогах сена не валяется. До самой ночи его искали. Смолье зажгли, по оврагам ходили, по лесу кричали. Каждый куст оглядели, каждую кочку ощупали.

Домашние небо и землю кляли. Настасья выла, по полу каталась, волосы рвала:

— Мой-то один! Один сынок! Если и его отнимете, душегубы, сама в омут кувырнусь!

Ее уняли, на лавку усадили, водой напоили. Ночь прошла в тревоге.

Утром, к обеду поближе, нашелся Антошка. Не сам, его нашли.

На окраине Чернокапища овражек малый пролегал, неглубокий. Весной вода туда стекала, летом крапива да лопухи выше головы торчали, осенью листья сырые глину покрывали. Никто того овражка особо в ум не брал, по краю ходили, через него перемахивали. Туда малец и угодил ненароком.

Сосед Пахом в поле пошел, меж грядками прямиком двинул, мимо овражка путь держал. Слышит — хрюканье странное, хрип. Подошел ближе, заглянул. На дне овражка мальчонка лежит. Не в воде, не на камне, а на глине черной, средь корней голых. Глаза открыты, в небо

смотрят, руки в стороны раскинуты. Живой. На теле — ни царапины. Только губы и щеки белые, без крови.

Пахом его подхватил, вытащил наверх. Народ сбежался. Настасья сына к груди прижала, по голове гладит, плачет, целует, а он глазами по сторонам водит — никак к ней не прижмется.

Кто-то спросил:

— Где ходил, Антошка? Где ночевал? В чей дом заходил?

А он молчит. Рот приоткрыл, но звук не идет.

Поп подошел, крестом накрыл, молитву прочел. Рот мальчика на «амине» дрогнул, язык шевельнулся, но опять ни шепота, ни стопа. Глухо. Как отрезало.

Ядвига тоже среди людей стояла. За Марфин подол спряталась, только глаза из-за складок выглядывают. Видит, что вокруг овражка трава примялась, корни по склону наружу вылезли, к небу потянулись. По бокам овражка трещины новые по глине поползли, а в самом дне, где Антошка лежал, ямка чуть глубже стала — земля там по-другому дышит.

Сердце у девчонки под горлом заколотилось. Потянулась вперед, сама не понимая зачем. Протянула руку, коснулась пальцев мальчишки — тонких, грязных. Его кожа холодная, сухая, ровно дерево прошлогоднее, а под подушечками ее пальцев что-то жаром отдавало, голосом, движением. Она сжала его пальцы — с кончиков сорвались крошки сухой глины, в землю ударили, и от того места гул пошел.

В тот миг мир вокруг другим стал. Люди рядом точно в кисель ушли, голоса их дальними глухими ударами отдались. Перед Ядвигой другое встало, не этот день, а вчерашняя ночь.

Видела она, как Антошка один по деревне крался — босой, рубаха на нем тонкая. Вокруг темень, месяц в облаках схоронился, звезды редкие мелькали. Ветер прохладой кожу щипал, по крышам ходил. Мальчишка к овражку тянулся, будто кто за нитку его туда вел.

У самого обрыва остановился, вниз поглядел. Там глина сырая тусклым светом блестела, корни переплелись, вода внизу черным пятном булькала. Не озеро, не речка, а ненасытная глубина.

Антошка губы к самому краю наклонил и зашептал:

— Возьми... только мать не бери... Возьми, что хочешь... Ее не трогай...

Слова тихие, но овраг их слышал. Земля под его ногами дрогнула, корни по краям чуть-чуть пошевелились, словно ответ ему держали.

— Что я могу дать... — он дальше шептал, слезы у него по щекам катились, — я ведь мал еще... Ни поля, ни скота, ни серебра... Песни у меня только...

Вдруг голову задрал, в небо выдохнул:

— Возьми мою песню... Знаю, хорошая она, люди за нее меня кормят... Пускай у меня пропадет, только мать не забирай.

В том видении каждое слово из его рта на землю тяжелой каплей падало. Падало и не пропадало, а в глину уходило, и там, в темноте, в черной глотке, отзывалось жадным чавканьем.

Овраг вокруг Антошки расширился. Не наверх, а внутрь, вглубь, на хищную челюсть похожий, что сперва сомкнутой держалась, потом приоткрылась. Из глубины пахло сыро-стью, стужей и запахом старых костей.

Язык у Антошки во рту обмяк, словно кто корнем из корня вырвал, с силой сжал и обратно уже неживым засунул. Мальчишка издал хрип — беззвучный, больше по движениям заметный, чем по звуку, — и назад от оврага попятился. Ноги его вязли в сырой глине, он все равно лез наверх, по липким буграм карабкался.

Видение оборвалось. Ядвига снова стояла среди деревенских, рука ее на пальцах мальчишки лежала, а его глаза на ней остановились. В этих глазах пустота тянулась, но глубоко-глубоко, на самом доньшке, еще тлел уголек — память о том, что в нем песня когда-то жила.

Девчонка руку одернула, будто обожглась. Сразу в ушах шум пошел, бурную воду напоявший, в груди сперло, ровно в нее чужой страх вошел.

— Ядюшка... — Марфа ее за плечо схватила. — Ты чего бледная такая?

— Он... — девочка задышала часто. — Никто ничего ему не сделал — он сам отдал...

— Кого отдал? — Марфа наклонилась ближе, в глазах тревога всколыхнулась. — О чем ты, доченька?..

Ядвига на овраг глянула краем глаза. Там корни по-прежнему в разные стороны торчали, над краем ямка черная чернела, и по ней зыбь легчайшая пробежала, словно вода внизу улыбнулась.

— Голос, — выдохнула Ядвига. — Он голос свой отдал. Песню свою. Земле.

Слова ее в толпе потерялись, но внутри у нее сохранились.

Глава 5. Пробуждение живицы

С той поры Антошка немой по селу ходить стал. Руки работают, ноги бегают, глаза видят. На Красной горке игру лихую затеют — он первый. Камень кинуть, в реку прыгнуть, на дерево взлететь — все может. Только молчит. Ни песни, ни слова. Даже стон сквозь боль из него не рвется. Горло живое, а звук из него ушел — и дорогу обратно забыл.

Поп все надеялся: «Отмолим, молитвой слово вытащим». Месяц минул, другой — все одно. Семинаристы на ярмарке шептались: «Знак, дескать. Кому-то вверху виднее, кому петь, кому молчать».

Ядвига к Настасьиной избе временами подходила. Антошка сидит на завалинке, кулачком по колену стучит, в небо глядит. Она рядом присядет, камушек под ноги кинет. То угощенье принесет, то молока в кружке поставит. Он благодарно кивнет — и ни звука.

Однажды она не выдержала:

— Ты же мне во сне пел, Антошка. Ночью приходил, песни мне в уши клал. Отчего теперь молчишь?

Он глаза отвел, провел ладонями по горлу — показал: пусто. И рукой вниз, к невидимому овражку, махнул.

Ядвига поднялась и ушла. Внутри поселилась тишина. Поняла она, что мир вокруг — вовсе не светлый луг, где добро само верх берет. Тут за каждый дар плата положена, за всякую просьбу — отдача.

В то лето, когда Ядвиге сравнялось двенадцать, а Лихаю близилось четырнадцать, столкнулись они у покосившегося плетня возле Прохоровой избы.

Ядвига шла с поля, в руке — пучок зверобоя для Марфы. Солнце к закату клонилось, крася в розовый пыль на дороге.

У плетня собралась целая компания — парни постарше, девки в ярких платках; смех, толкотня.

Лихай сидел верхом на жердине, точно петух на насесте, и что-то громко рассказывал, руками размахивая. Девки повизгивали, парни ржали.

Завидев Ядвигу, он голос повысил:

— А я говорю, баба должна быть мягкая да веселая, как опара! А которая молчит да волком смотрит — ту в дом не бери, с ней и квашня не поднимется!

Компания загоготала, кто-то покосился на Ядвигу — поняли, в чей огород камень. Девки зашептались, прикрывая рты ладошками.

Ядвига прошла мимо, шагу не замедлив. Лицо — спокойное, взгляд — прямо перед собой. Но нутряной слух, что различал под землей голоса и шорохи, уловил вдруг совсем другое в словах Лихая. Не бахвальство и не насмешку, а глухую, почти болезненную досаду. Так досадует мальчишка, что хотел одного, а сделал другое, и сам не понял, зачем.

Ядвига удивилась так сильно, что чуть не обернулась. Удержалась.

А Лихай еще долго на жердине сидел, соловья, отвечал невпопад. Да все глядел вослед, за поворот, где скрылась ее тонкая фигурка с пучком травы в крепко сжатом кулачке.

С того дня минуло три недели. Ядвига старалась не вспоминать о встрече у плетня. Но слова Лихая, брошенные в смех и шум, то и дело всплывали в памяти — не сами по себе, а вместе с тем странным ощущением, что она уловила тогда нутряным слухом. Досада. Будто камень на сердце у парня лежал, а он его наружу выплескивал, сам не ведая зачем.

Порой, работая у Марфы, перебирая травы или толча коренья в ступке, Ядвига ловила себя на том, что прислушивается не к шелесту листьев за окном и не к голосу старухи, а к тому, что шевелилось глубоко внутри, словно корни под землей тянулись к силе неведомой.

Марфа замечала ее задумчивость, хмурилась, но не спрашивала — знала, что время придет, сама расскажет.

А вечером, укладываясь на лавке под теплым дерюжным одеялом, Ядвига все еще видела перед собой Лихая. Как он сидит на жердине, руками машет. Вдруг замолкает на миг и смотрит ей вслед.

От того воспоминания в груди у нее разом и теплело, и холодело. И не разобрать, отчего такая смута: то ли от обиды горькой, то ли от недоумения полного. А может, от чего-то нового, чему она имени еще не знала.

Она уснула незаметно, будто шагнула в темную воду.

И тогда пришел сон.

Приснился ей овраг. Не тот, где Антошка лежал, — другой, глубже и чернее. Склоны крутые, корни толстые, что змеи переплетенные, глина влажная, маслянистая. А внизу не вода — что-то живое, дышащее, тянет к себе и говорит голосами без звука, одним телом слышными.

Стояла в том сне девчонка. Вроде бы она сама, да только взгляд не свой, древний, как у старухи, что век одна на болоте прожила. Подошла к самому краю, над черной глубиной руки развела и не голосом, а сердцем молвила:

— Не трожь пока. Подожди. Еще не вызрела. Слишком рано.

Холод по телу прошел, а следом — ответ без слов: «Мир тебя слышит. Ждет и не забывает».

Проснулась Ядвига, а сон в памяти занозой застрял — не вытянуть, не забыть.

Марфа не сразу догадалась, что с девчонкой неладное творится. Но со временем примечать начала: днем Ядвига хмурая ходит, ночью вскрикивает, к печи жмет, как к существу живому. Летом по улице мало бегает — все сидит, глаза в землю уткнувши.

— Что с тобой, дитятко? — спросила она раз вечером, когда с поля вернулись. Обе травой пахнут, руки в царапинах. У Марфы глаза красные, усталые, а у Ядвиги — темные, глубокие. — Все ребятишки по улице скачут, а ты как старуха-одиночка в углу сидишь, в стены глядишь.

Ядвига плечами повела — липкое чувство в груди словам ходу не дает. Потом все же заговорила:

— Люди не только ртами говорят, мама. Они сердцами кричат. А я слышу. Не хочу, а слышу. Вот Антошка ночью беззвучно кричит: «Где моя песня?» Настасья вслух шепчет: «Слава Богу, живой», а внутри другое: «За что мне сына немого?» Ты днем на деда ворчишь, а ночью боишься без него остаться... Все это во мне гудит, как в пустом колодце.

Марфа рядом села, тяжелые руки на колени уложила. Пальцы в мозолях, натруженные, ногти короткие. Пахло от нее полынью и дымом. Положила ладонь Ядвиге на макушку, мягко погладила, как воду разравнила.

— Слушай, — сказала она медленно, будто песню заводила. — Есть под нами земля не простая — живая. Живица зовется. Она все помнит: кто по ней шел, кто в ней лег, кто в нее слезы лил, кто кровь проливал. Она долга не забывает, обиды не прощает — только счет ведет.

— Какой счет? — не поняла Ядвига.

— Разный. Что кому отмерено — то и зачтется. Кто у земли просит — не зря рот раскрывает. Сегодня смолчит она, через десять лет аукнется, а через сто лет — за горло возьмет и свое потребует. Не бывает слова пустого. Не бывает просьбы без ответа. А чуда без платы — и давно не бывает.

Марфа вздохнула, к стенке прислонилась.

— Жила у нас бабка одна, еще до тебя. Ходила по ночам к курганам, просила: «Дай мужа, дай ребенка, дай хлеба». И дала ей земля — только по-своему. Муж объявился, да не тот, что нужен. Дитя родилось, да больное, все в жару да в крике. Хлеб в закромах завелся, да с кислинкой, с горечью. К каждому дару — по занозе. Та бабка к концу жизни одна осталась: с кислым хлебом, с мужем пропащим и с дитем, что у нее на руках померло.

Марфа перекрестилась.

— Земля-матушка не добрая и не злая. Она как весы. С чистым сердцем придешь — силой одарит. А кто в темноте шепчет да думает, что никто не слышит, того за слово и поймает. Одна тут тайна: не шепчи того, за что платить не готов.

— А если не шепчешь, — тихо спросила Ядвига, — а оно все равно в сердце просится?

— Тогда живешь как на краю. С одной стороны — желание, с другой — страх. Живая пока — в счет не впишут. А как решишься язык развязать — вот тут все и начнется.

Слова Марфины, что вода с горькой травой: правда, а на вкус отвратно.

Ночью Ядвига опять не спала. Лежит на печи, кот под боком мурлычет, жар в трубе гудит, а внизу, под полом, под землей, живица шевелится — слушает и ждет.

— Если все платы требует, — шепнула девчонка в темноту, — тогда и то, что ты мне дала, — тоже?

Ответа не дождалась. Только по полу легкая дрожь прошла, из конца в конец, и в печи пламя перевернулось, ярче вспыхнуло. Кот ухо дернул, голову на другой бок переложил.

После сказа Марфы о земле-живице да после немоты Антошкиной, что камнем на сердце легла, потянуло Ядвигу к краю деревни. Всюду своя примета: у одних — курган старый, у других — колодец с мутной водой, у третьих — пустошь черная. Но ее больше всего манило место, где дорога в лес пропадает.

На краю Чернокапища две березы стояли — белые, стройные, стволы в черных отметинах. Промеж них тропка вилась, а дальше кусты и темный ельник стеной поднимались. С виду обычная опушка, да только Ядвига всякий раз, мимо проходя, кожей холод чувала, будто под тонким дерном черная вода ворочается.

Вот раз летом, когда вся ребятня в реке плескалась, она в другую сторону свернула — огородами, задами, прямо к березам выбежала.

Остановилась, погладила ствол ладонью. Кора шершаво дрогнула, сок проступил и липкой каплей на коже остался.

— Пойдем со мной, — шепнула Ядвига березе. — Куда поведешь — туда и пойду.

Береза кроной качнула, листья тихо звякнули, словно колокольцы малые. Девочка шагнула в просвет меж стволами и пошла по тропке.

Лес поначалу дышал приветно. Птицы перекликались, комар тоненько зудел, кузнечики в траве стрекотали. Солнце пятнами сквозь листву ложилось. Но с каждым шагом воздух тяжелел, запахи сырости и прели нарастали, тропа уводила все ниже.

Земля под ногами стала мягкой, податливой. Ступит — вода из-под пятки кружочком выступает. Меж клейких кочек стояла рыжая вода — без течения и пузырька, одна только гладь, мутная и тяжелая.

В самой низине, в ложбинке, Ядвига и увидела его — то, что позже Черным Зыбуном назовут. Пока еще малый, робкий. Лужа, на вид неглубокая, только вода в ней не простая — темная, торфяная, а под ней глубина бездонная.

Над лужей воздух дрожал по-своему. Кругом лето, тепло, а тут — ни тепла, ни движения. Одна густота, и та нездешняя.

И вдруг — будто кто в глубине глаза открыл: над самой серединой вспыхнул синий огонек. Не от гнили занялся, не от искры — сам собой затеплился и повис над водой дрожащей свечкой. Свет от него бил резкий, узкий, как стрела, что вот-вот с тетивы сорвется.

Ядвига замерла. Сердце ухнуло вниз, дыхание в горле застряло. И увидела она, что в том огоньке не просто пламя — там чьи-то глаза теплятся. Старые и внимательные, глядят прямо в нее.

— Ты что за зверь? — прошептала девчонка без страха, только с холодным любопытством.

Огонек качнулся, придвинулся ближе. Вода под ним задрожала, пошли круги, и края лужи поползли вверх, словно дышать начали.

Снизу, сквозь сапожки, сквозь голени и колени, потянулся холод. Не зимний, не речной — другой. Такой изнутри вымораживает: из кожи в кости, из костей — в самое сердце попадает.

— Зо... ви... — донеслось из глубины.

Тот самый голос, что ночами сквозь пол просачивался. Теперь он шел из черной воды — открытый, внятный.

— Кого звать? — выдохнула Ядвига.

В ответ вздулся пузырь, лопнул у самой поверхности, и пахнуло серой, тиной и чем-то древним, костяным.

— Когда... придет... час...

И тут же слова кончились. Дальше — не словами сказано, а дрожью: в воздухе, в земле, в груди.

Ядвига попятилась. Нога попала на кочку, и кочка вдруг шевельнулась, как будто что-то живое под ней дернулось. Девчонка покачнулась, чуть в лужу не рухнула. На миг в синем огоньке мелькнула чья-то ухмылка.

Но березовый корень подоспел — вырвался из-под земли, в спину уперся, не дал упасть. Ядвига к стволу прижалась, обняла его изо всех сил. Береза ветвями зашумела, словно головой покачала: «Рано тебе туда».

Ядвига дух перевела, развернулась резко и бегом — обратно по тропе. Ветки по лицу хлещут, корни под ноги лезут, но ни разу не остановилась. Лишь у края леса, меж двух берез, обернулась. С того места лужи уже не видать — только низинка темнее остального леса. А в глубине, за кустами, на миг мелькнул бледный синий огонек, на прищуренный глаз похожий, и тут же сгинул.

Дома Марфа хлеб из печи доставала — руки в муке, лицо в поту. Ядвига молча кружку с водой схватила, глотнула жадно. Марфа глянула на нее, растрепанную, с круглыми, дикими еще глазами, и головой покачала:

— Где была?

— В лесу, — сказала Ядвига прямо. — Низинка там, вода черная. Огонек над ней пляшет. Марфа перекрестила рот, нахмурилась:

— Не ходи туда одна. В лесу троп много, только не все к людям выводят. Иные к запретным дверям ведут. Зайдешь, а обратно уже не по своим следам выйдешь.

— Там голос, — упрямо выдохнула Ядвига. — Тот же, что ночью снизу шепчет. Будто из-под пола... а на деле — из низины той.

Марфа помолчала, отвела глаза к печи, потом снова на дочку посмотрела.

— Ну, коли слышишь, тогда с умом слушай. Не всякий зов для тебя. Есть глас, что тебе назначен. Есть тот, что через тебя к другим идет. А есть такой, что и мертвому к нему лучше не подступаться. Утащит — не вернет.

Ядвига кивнула и смолчала. Знала она, что дом их — не просто бревна да доски. Под ним черная сила лежит, от овражка к низинке тянется, от низинки к лесу, от леса к курганам, от курганов к колодцам. Все это единым узлом связано, и где-то в самой глубине того узла живет синий огонек и шепчет про час, что грядет.

Днем дом по-прежнему ласков с ней. Обидится Ядвига — тонкая трещинка по бревну пробежит, обиду на себя примет. Пожалеет кого — мыши на чердаке притихнут, тишина по углам разольется. Попросит печь — та жаром отзовется. А ночью все иначе. Ночью не только дом — все вокруг через нее дышит. Земля под полом, темная жила под избой, воздух в углах — все слушает ее дыхание, ее присутствием живет.

И стала Ядвига просыпаться порой с мыслью тяжелой: «Не для одной себя живу. Кто-то еще моими глазами глядит». И дом в ответ на эту мысль тихо бревном стонал — соглашался.

Так детство ее с домом переплелось, как выюн с жердью: не разделить, не разорвать. Дом ее слушал, а она его слышала. И в каждой трещине, шорохе, шепоте земли все ближе поднималось то, что позже не людским селом названо будет, а узлом, где сама судьба корни вяжет и сама же по осени плоды собирает.

Глава 6. Призвание Ядвиги

С той лютой вьюжной ночи, когда к порогу Марфы с Карпом прибило по сугробам окровавленного человека с девчонкой на руках, утекло много лет.

Снег с тех пор не раз с бугров сходил, трава не раз желтела, хлеб не раз колосился и под серп ложился. Люди уже попривыкли, что Ядвига — не просто приемная дочь, сиротка с родимым знаком на груди, а девка, к которой сама земля тянется внимательнее, чем к прочим.

К четырнадцатому году глаза у нее потемнели, стали глубже и тяжелее прежнего — пропала из них детская дымка. Кто ненароком взглядом с ней встречался, вдруг смекал, что все тайные его думки, потаенные желания, стыдные клятвы, что шепотом по темным углам сказывали, ей как на ладони выложены — яснее, чем самому себе.

Люди сперва еще пробовали обходиться с ней по-старому: кто с лаской, кто с сердцем, кто с любопытством. Да с каждым месяцем все чаще примечали: при ней язык сам собой укорачивается. Берегутся самых черных слов, прикусывают язык там, где прежде сыпали проклятиями без опаски, потому как всякому чуялось: не к добру это, когда такая девка слышит то, что не для ее ушей.

Сама Ядвига этому слуху не радовалась. С детства знала, что мир вокруг шумит не только ручьями, ветром да птицами, но и людскими голосами неслышными, что не всякому уху даются. Стоило чуть приотпустить внутреннюю заслонку, тут же от каждой избы, двора, кучки людей поднимался к ней разношерстный гул.

Здесь баба шепчет, наматывая нитку на пальцы: «Чтоб у соседки корова пала, раз хлева не запирает». Там мужик, ковыряя в зубах березовой щепкой, клянёт про себя кума и тайком просит: «Хоть бы ему бок прохватило, лишь бы в карты больше не выигрывал». Где-то девка прижимает подушку к лицу и шепчет в жару: «Чтоб он меня приветил, хоть бы жену его в могилу свели». А вдова, глядя на икону, шепчет: «Лишь бы сын вернулся цел, не надо мне иной радости».

Жадность, зависть, похоть, обида, стыд, страх, надежда — все это для Ядвиги звучало по-своему. Жадность звенела визгливым, колким гвоздем. Зависть тянулась тягуче и липко, как смола. Обида отзывалась глухим, долгим, немолчным звоном, будто по толстому железному листу ударили и звуку уняться не дали. Молитва же, истинная, горячая, без торга и расчета, входила мягко, глубоко и негромко, точно далекий благовест, что слышишь не ушами, а нутром.

Со временем Ядвига научилась прикрывать в себе эти щели: не вслушиваться без надобности, отмахиваться от чужих мыслей, как от назойливой мушки. Иначе немудрено задохнуться от этого невидимого чада и ума лишиться.

Весна того года входила в землю не так, как заведено, и не одна Ядвига это замечала. Снег не уходил веселыми ручьями, не играл солнечной рябью, а сползал со склонов тяжелыми серыми пластами. Черный тухлявый лед выпревал из колеи и ямок, как куски отсыревшего хлеба из ларя. В канавах вода не звенела, а стояла мутными ленивыми лужами, на которых рано проступила зеленая пленка. Ветер же приходил не живой, не свежий, а тугой, и нес в себе не вкус дорог далеких и снегов талых, а запах сырости, плесени и чего-то еще, что старики называли одним словом: «недобро».

Они ворчали — старики всегда ворчат, потому что много всего на веку повидали, — но в этом ворчании звучала не простая привычка покряхтеть, а зримое беспокойство. Говорили, что земля не тешится, не отвечает на весну, как ей положено, что под снегом в этот год не сок, а гниль какая-то, и если так дальше пойдет, то беды не миновать.

Так и случилось — беда не заставила себя ждать.

Сначала тихо, зверюгой крадущейся, тронула она одну избу — у Митьки-колодезника, человека веселого и бойкого, во дворе которого всегда дети смеялись да куры кудахтали. Старший сынок его, Васька — шустрый, быстрый, с проворным языком, — носился весь день: по лужам шлепал, на обледенелых досках катался, из проруби воду таскал. А к вечеру сел к столу, ложку к каше протянул и застыл вдруг. Так и съехал на лавку, прислонился к стене и больше подняться не смог. Лоб у него горел, ровно железо, докрасна накалившее; кожа на руках — холодная и влажная; дыхание рвалось частыми, маленькими глотками, как если бы камень в грудь втиснули и вынуть его оттуда никто не в силах.

На другой день заболели двое детей у бабы Февронии, на третий — еще в одной избе. А там, где сначала валились малыши, вслед за ними начали ложиться старики — у тех и так сил оставалось немного. Хворь ходила по селу, как неведомый гость: ни лица его не увидишь, ни шагов не услышишь. Только по следам и узнаешь: здесь плач, там вой, тут свечки за здравие, там — за упокой доски готовят, потому как кто знает, чем все кончится.

Поп с утра до ночи ходил от порога к порогу, крестил, читал молитвы, святой водой брызгал. Травницы вытаскивали из сундуков последнее, что еще не пошло в дело за зиму: корни, семена, сушеные цветы — варили отвары тягучие, горькие, жгучие, туманные. Но все это приносило лишь слабое облегчение: точно воду на раскаленный камень плеснули — пар поднялся, дышать стало легче, а сам камень не остывает.

И вот в один из таких вечеров, когда селянам уже в привычку вошли и детский плач за стеной, и женский вой на улице, и странная тишина там, где прежде смех стоял, пришла хворь и к порогу Марфы с Карпом.

До тех пор Карп, хоть и носил на лице глубокие морщины, а на висках — седые пряди, держался крепко — не зря его в молодости прозвали «зверь-дуб»: спина прямая, руки жилистые, глаза, пусть и прикрытые веками, но внимательные. В этот раз он, как всегда, вернулся из сарая, где что-то чинил у сломанной телеги, и сел к столу. Взял ложку, зачерпнул похлебку, но до рта не донес. Пальцы разжались, ложка стукнулась о деревянный край, а сам он тяжелым мешком осел на лавку и сполз чуть ниже, опираясь плечом о стену. Глаза его враз помутнели, лицо посерело, губы посинели, и дыхание пошло хриплое, с натугой.

Марфа, стоявшая у печи, замерла с ухватом в руке, а потом бросилась к нему, подхватила под плечи. Прижала ладонь к его лбу и вздохнула так, что это вздохом не назовешь, — скорее стоном назвать можно. В нем и страх, и злость бессильная, и кручина собрались вместе. Лоб жег руку, как горячая заслонка у разогретой печи; губы у старика пересохли, веки уже отяжелели.

Она усадила его как могла, подложила под голову свернутый тулуп, начала суетиться, метаться между печью, лавкой и иконами. Успокоилась вскоре, уразумев неизбежное. Просто сидела возле, держала его руку и повторяла одно и то же, как заведенная, не то шепотом, не то криком:

— Да не смей ты, старый, не смей, слышишь! Я тебя к себе не за тем брала, чтобы ты вот так уходил! Да как же это так? Да хоть бы меня взяли, только не тебя! Хоть бы душу мою забрали, только бы тебя оставили...

Ядвига в это время стояла в тени, у самого угла — там, где когда-то, еще маленькая, разговаривала с «пустыми» местами избы, — и слушала не только ушами, но и всем нутром. Слова, что в отчаянии вырывались у Марфы, звучали для нее не привычным бабьим причитанием, которое мимо ушей летит, а звенели, ровно железо о железо. Каждое «душу бы отдала» по сердцу резало. Каждое «лишь бы его оставили» тянуло куда-то вниз, вглубь, за собой.

В тот самый миг, когда эти слова, оторвавшись от Марфы, разошлись по избе, спустились по стенам вниз, в щели меж бревнами и щебенкой под полом, глиной, темной, слежавшейся годами землей, что-то тяжелое шевельнулось и напомнило о себе знакомым рокотом. Не

мышинная возня, не скрип корней, что вырастают глубже, а глухое, по слогам растянутое слово, какое Ядвига еще ребенком слышала, лежа на печи и глядя в потолок:

«Зови... когда... придет... час...»

Тогда, в детские годы, она слышала этот шепот в ночной час — доносился до ее слуха ветерком сквозь щелку, дождеком по крыше, совиным криком в лесу. Со временем голос стал явственнее. А нынче, когда слово «душу» вырвалось так громко, горячо, настойчиво, будто Марфа желала им самим небеса и преисподнюю вместе растревожить, этот голос поднялся к Ядвиге с особой ясностью и тяжестью. В нем ни спешки, ни суеты — только давнее обещание: просилась прийти, вот и дождалась.

Пришла пора.

Ядвига отлепила ладони от глиняного пола, выпрямилась, провела рукой по лицу, пытаюсь стереть со щек невидимую пыль. Внутри у нее все уже порешилось — еще до того, как мысли в слова слепились. Знала она уже, что назад дороги нет. Чтобы и Карпа спасти, и детям помочь, а самой в стороне остаться, будто не ее это дело, — так не выйдет.

Марфа глянула — девка встает, завязывает на груди старый, потертый платок, а глаза ее смотрят не на нее, не на Карпа, а куда-то мимо, к двери, — и всполошилась:

— Ядуха, ты куда? Сиди здесь, ты мне нужна! Вдруг отойдет, вдруг сейчас очнется, а тебя нет...

— Если бы ему отойти самому, давно бы отошел, — тихо, без натуги ответила Ядвига, и в голосе ее слышалось больше усталости, чем упрямства. — А если не отойдет сам, значит, и так, и эдак без меня не справиться. Ты сиди, матушка, за ним поглядывай, воду подливай, чело остужай. А я — туда, куда меня с детства звали. Вернусь, если дадут.

Марфа всхлипнула, но ничего не сказала — давно знала, что все слова бесполезны.

Ядвига подошла к двери, положила руку на косяк. Дом, что с детских лет отзывался на любое ее движение души и тела, задрожал мелко-мелко. Бревна в стенах тихо скрипнули, перекладыны под крышей протянули жалобный тонкий звук, точно струна, что кто-то в страхе дернул. Печь выбросила из себя густой горячий вздох. Треснул где-то в углу старый сучок. По иконе в тени прошел чуть заметный отсвет, и Марфа, не оборачиваясь, перекрестилась на тот отсвет.

— Не бойся, — сказала Ядвига, погладив ладонью шершавое дерево притолоки — так, как глядят по шее горячего коня перед дорогой. — Я не бегу от тебя, не бросаю. Я иду туда, откуда ты меня с самого начала чувствуешь. Ты меня держишь, и я от тебя не сбегу.

Дверь отворилась нехотя, тяжело, словно одолевала все жилы, корни и нити, какими дом прирос к земле. В лицо девке дохнуло сырым ночным воздухом, пропитанным дымом от печных труб, свежей весенней стужей и чуть-чуть — духом той самой хвори, что вилась по улицам невидимыми клубами, никого не минув.

Улица под серым небом широкой темной лентой стелилась. По обе ее стороны, как два ряда присевших на корточки стариков, стояли избы, и в каждой теплился тусклый огонек, трепещущий сквозь щели ставен. У каждого окошка что-то шевелится: где силуэт людской, а где лишь тень от дрожи. Из-за забора чей-то глухой плач доносился, далеко по улице ему собака отзывчиво тянула. Над всем висел низкий, вязкий гул — не песня, не молитва, а общий вздох.

У кого-то вдруг хлопнула дверь.

Дорога к той кромке леса, где лежало давнее и всегдашнее заветное место, знакома ее ногам так же верно, как дорога от печи к полке с корками хлеба. Сколько раз она в детстве бегала туда и обратно! Сначала любопытства ради, потом оттого, что иной раз хотелось только там, среди хилых кочек и над темной водой, взаправду побыть одной.

А теперь шла Ядвига, и одной-единственной мыслью проникалась: уйти можно откуда угодно, но не от того, с чем рождена.